

# часть 1

## Время незавершенных революций

# ГЛАВА 1

## РУССКИЙ КРИЗИС НАЧАЛА XX ВЕКА: АГРАРНОЕ ОБЩЕСТВО У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

### 1.1. Отставание и догоняющее развитие

**Русский кризис** — название книги известного историка и политического деятеля, впоследствии министра Временного правительства Павла Милюкова, изданной в США и во Франции в начале XX века, когда Россия вступила в критическую полосу своей истории. Согласно Милюкову, «русский кризис — это в особенности и прежде всего кризис сельского хозяйства»<sup>1</sup>. Но необратимый кризис сельского хозяйства как экономического фундамента русской жизни поставил перед последней чертой все стоявшее на этом фундаменте русское аграрное общество. Это был его кризис.

Он-то и привел к главному событию истории России XX века — гибели деревни. Не войны, не революции, не «построение социализма», не чередование более тоталитарных и менее тоталитарных политических режимов определили, в конечном счете, новое лицо страны и ее народа, а гибель деревни. Ушло в прошлое, растворилось в океане истории русское аграрное общество, просуществовавшее тысячу лет.

Испокон веку Россия была деревенской, крестьянской страной. Как, впрочем, и вся Европа да и почти вся наша планета. Но где-то в середине второго тысячелетия в Западной Европе проросли зерна небывалых перемен, и ее деревенский мир стал постепенно таять, разрушаться. Как писал В. Ключевский, в XVI–XVII веках в Западной Европе «народный труд вышел из тесной сферы феодального поземельного хозяйства... Благодаря географическим открытиям и техническим изобретениям ему открылся широкий простор для деятельности, и он начал усиленно работать на новых поприщах и новым капиталом, городским или торгово-промышленным, который вступил в успешное состязание с капиталом феодальным, земледельческим»<sup>2</sup>.

Россия же, замечает далее Ключевский, «не участвовала во всех этих успехах, тратя свои силы и средства на внешнюю оборону и на кормление двора, правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, ничего не делавших и неспособных что-либо сделать для экономического и духовного развития народа»<sup>3</sup>.

«Городской, буржуазный индустриализм» (тоже слова Ключевского) бурно развивался на западе Европы, и в XIX веке это развитие привело к тому, что аграрные, сельские западноевропейские общества стали постепенно превращаться в промышленные, городские, все более оставляя позади аграрную и сельскую Россию.

<sup>1</sup> Милюков П. La crise russe. Paris, 1907, с. 323. Название американского издания: Russia and its crisis (1905).

<sup>2</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. III, М., 1988, с. 243.

<sup>3</sup> Там же.

В начале XX века отсталость России была признана всеми — от радикальных критиков из революционно-демократического лагеря до автора официозной книги, изданной по случаю трехсотлетнего юбилея дома Романовых и призванной продемонстрировать успехи России, показать, что «экономический рост страны поражает своими размерами». «Благополучие широких народных масс, их образованность, народное богатство, культурное развитие не могут идти почти ни в какое сравнение с таковыми же на западе Европы и в Америке», — читаем мы в этом верноподданническом сочинении<sup>4</sup>. Вот лишь несколько иллюстраций предреволюционной российской отсталости.

**Промышленность:** по объему промышленного производства в 1913 г. Россия в 2,5 раза уступает Франции, в 4,6 раза — Англии, в 6 раз — Германии, в 14,3 раза — США. Производство на душу населения угля — 209 кг (в США — 5358 кг), чугуна — 30 кг (в США — 326), электроэнергии — 14 кВт·ч (в США — 176). Потребление хлопка на душу населения в России — 3,1 кг, в США — 14<sup>5</sup>.

**Сельское хозяйство:** средняя урожайность хлебов в 1909–1913 гг. — 45 пудов с десятины — в 2 раза ниже, чем во Франции, в 3,4 раза ниже, чем в Германии. Производство хлебов на душу населения в России — 26 пудов, в США — 48, в Канаде — 73. Потребление минеральных удобрений — 6,9 кг на гектар посева, во Франции — 57,6, в Германии — 166, в Бельгии — до 236 кг на гектар<sup>6</sup>.

**Таблица 1.1. Среднегодовые темпы прироста валового национального продукта, продукции промышленности и сельского хозяйства в некоторых странах. 1870–1913 гг., в %**

	Россия	США	Великобритания	Германия	Франция	Италия	Япония
<b>Валовой национальный продукт</b>	2,5	4,3	2,0	2,8	1,6	1,4	2,7*
<b>То же на душу населения</b>	1,0	2,2	1,1	1,6	1,4	0,7	1,7*
<b>Продукция:</b>							
<b>Промышленности</b>	5,2	5,0	2,0	4,4	2,6	3,7	5,6**
<b>Сельского хозяйства</b>	1,7	2,3	0,0	1,5	0,7	н.д.	2,0**

\* 1879–1913; \*\* 1874–1913.

**Источник:** *The modernization of Japan and Russia. A comparative study.* Ed. by Cyril E. Black. NY, 1975, p. 194–195.

<sup>4</sup> Мизулин П. П. Экономический рост Русского государства за 300 лет (1613–1913). М., 1913, с. 220, 222.

<sup>5</sup> Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Том II. Капитализм. М., 1948, с. 288.

<sup>6</sup> Там же, с. 276–277.

*Национальный доход:* 102 руб. на душу населения в 1913 г., (по другим оценкам — от 101 до 114 руб.<sup>7</sup>) то есть ниже, чем в Германии, в 2,9 раза, чем во Франции, — в 3,5 раза, чем в Англии, — в 4,3 раза, чем в США, — в 6,8 раза<sup>8</sup>.

*Младенческая смертность:* в 1906–1910 гг. — 247 на тысячу родившихся; во Франции в эти же годы — 128, в Германии — 174, в Англии — 117, в США 121 на тысячу<sup>9</sup>.

*Ожидаемая продолжительность жизни:* в 1907–1910 гг. у православного населения России — 32 года для мужчин, 34 года для женщин. В то же время во Франции — соответственно 47 и 50 лет, в Германии — 46 и 49, в Англии — 50 и 53 года, в США — 49 и 52.

Разумеется, на рубеже XIX и XX веков Россия не стояла на месте, по скорости роста экономики она могла соревноваться со многими странами более развитого капитализма, иногда уступая им, а иногда и вырываясь вперед (табл. 1.1). Быстрый экономический рост был связан в особенности с развитием промышленности. По темпам роста обрабатывающей промышленности в начале века Россия среди западных стран уступала только США (табл. 1.2). Но для России более показательное сравнение с Японией, которая после «реставрации Мейдзи» в конце 1860-х годов находилась примерно на том же этапе исторического развития, что и Россия после отмены крепостного права. Как видно из табл. 1.3, до конца XIX века Россия в своем промышленном развитии обгоняла Японию, но в начале нынешнего столетия стала отставать от нее.

**Таблица 1.2. Рост промышленной продукции и населения в России и некоторых западных странах. 1896–1900 — 1911–1913 гг., в %**

<i>Страна</i>	<i>Продукция обрабатывающей промышленности</i>	<i>Население</i>	<i>Продукция на душу населения</i>
Россия	4,8	1,8	2,9
США	5,2	1,9	3,2
Германия	4,0	1,4	2,5
Великобритания	1,6	0,9	0,7
Франция	3,5	0,2	3,3

*Источник: Хромов П. А. Экономическая история СССР. М., 1982, с. 129.*

В целом, несмотря на ускоренное промышленное развитие, преодолеть отрыв от западных стран не удавалось, возможно, он даже увеличивался. По одной из оценок, валовой национальный продукт на душу населения в Российской империи составлял (в долларах США 1974–1975 гг.) в 1860 г. 350, а в 1913 г. — 600 долларов. Соответствующие показатели для США — 860 и 2500 долларов<sup>10</sup>. Получается, что соотношение ВВП

<sup>7</sup> Вайнштейн А. Л. Народный доход России и СССР. М., 1969, с. 68.

<sup>8</sup> Лященко П. И. Цит. соч., с. 348.

<sup>9</sup> La mortalité des enfants dans le monde et dans l'histoire. Ed. par P.-M. Boulanger et D. Tabutin. Liège, 1980, p. 147–149

<sup>10</sup> Sokoloff G. La puissance pauvre. Une histoire de la Russie de 1815 à nos jours. Paris, 1993, p. 787–790.

на душу населения между Россией и США после пяти десятилетий пореформенного развития стало гораздо менее благоприятным для России: 40% американского уровня в 1860 г. и всего 24% в 1913. Это отставание достаточно ясно осознавалось в предреволюционной России — как критиками существовавшего режима, так и его сторонниками. «Россия, как и все другие культурные государства, сильно шагнула вперед в деле своего экономического и культурного развития, но ей придется еще много потратить усилий, чтобы догнать другие народы, далеко ушедшие от нас вперед», — читаем мы в уже упоминавшейся книге об экономическом росте России<sup>11</sup>.

**Таблица 1.3. Среднегодовые темпы прироста промышленного производства в России и Японии в конце XIX – начале XX вв., в %**

<i>Россия</i>		<i>Япония</i>	
<b>1860–1885</b>	<b>4,0</b>		
<b>1885–1900</b>	<b>6,7</b>	<b>1887–1902</b>	<b>5,5</b>
<b>1900–1913</b>	<b>3,6</b>	<b>1902–1931</b>	<b>6,1</b>

*Источник: The modernization of Japan and Russia, p. 166.*

«Догнать» — ничего нового в этом слове для русского уха не было. Многие страны, целые континенты вступили в полосу догоняющего развития в двадцатом веке. Но для России эта полоса началась на несколько столетий раньше — прежде всего, пожалуй, из-за внешних причин. Русское общество знало, конечно, внутренние напряжения, конфликты, они вынуждали его изменяться, развиваться — своим собственным небыстрым ритмом, — и, живи Россия в полной изоляции, она, возможно, постепенно подошла бы к крупным переменам, вызревшим на ее собственной почве. Но изоляции не было, а была жизнь рядом с европейскими и неевропейскими соседями, и притом жизнь активная, побуждавшая очень сильно заботиться о своем месте на сцене мировой истории.

Место же это было во многом предопределено геополитическими реальностями, сложившимися на европейском континенте еще во второй половине XV века, когда Россия окончательно сбросила с себя татарское иго, а значительная часть южной и восточной Европы оказалась под властью Османской империи. После падения Константинополя естественным было появление нового геополитического полюса на востоке Европы, каковым, в силу географического и политического положения, и стала Москва, все более осознававшая себя «Третьим Римом».

Роль Третьего Рима была почетной, но непростой. Она обязывала к участию в европейских, чтобы не сказать в мировых, делах и притом к участию на первых ролях, требовала энергичного экономического, политического, военного, культурного взаимодействия с соседями, в первую очередь, с западными. Ибо «для многих в конце XV века Запад представляется уже более реальным, чем разоренная и завоеванная Византия. Такое самочувствие довольно понятно и естественно... у людей политического дейст-

<sup>11</sup> Мигулин П. П. Цит. соч., с. 221–222.

вия; но вскоре им проникаются и другие общественные слои»<sup>12</sup>. Запад же, как выяснится вскоре, переживает необычные перемены, стремительно умножающие его силу и богатство, и, чтобы быть с ним на равной ноге, Россия должна и сама позаботиться о переменах. Нужны реформы, нужны заимствования у Запада, нужно обновление.

Эта забота была осознана, видимо, не сразу, но к XVII столетию она стала вполне осязаемой. По мнению В. Ключевского, именно тогда русское общество впервые заметило, что его западные соседи достигли каких-то необычных успехов, и обнаружило «все очевиднее вскрывавшуюся в войнах, в дипломатических сношениях, в торговом обмене скудость собственных материальных средств перед западноевропейскими, что вело к осознанию своей отсталости»<sup>13</sup>.

По мере того, как отставание все больше дает себя знать, «в московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей отсталости»<sup>14</sup>.

Россия, уже ощутившая себя мощной державой, уже привыкшая одерживать победы, раздвигать границы и диктовать свою волю сопредельным государствам, неожиданно оказалась перед выбором: смириться с отставанием и отказаться от своего положения влиятельной силы на европейской политической арене или не уступить, броситься вдогонку Западу и утвердиться-таки Третьим Римом среди уважительно расступившихся соседей. Выбор, впрочем, был сделан очень быстро. В России, видимо, уже произошло то, что Бердяев позднее назвал «инстинктом государственного могущества»<sup>15</sup>. Догнать и утвердиться — иного выбора и не могло быть.

Решающее слово произносит Петр I. Он твердой рукой проводит глубокие реформы, охватившие все стороны жизни народа и государства, преобразовавшие в той или иной степени административное управление, экономику, военное дело, церковь, просвещение, частную жизнь, и, казалось бы, вырывает страну из отставания, превращает ее в могучую империю. Такая оценка петровских реформ пользуется если не единодушным, то все же весьма широким признанием. «„Европеизация“ — термин, которым оперировали историки самых разных направлений. „Модернизация“ русского народа, его вхождение в круг европейских наций являются существеннейшими чертами петровской эпохи — причем не только для главного научного выразителя и защитника этой точки зрения С. М. Соловьева, но и для славянофилов и западников... Термин „европеизация“... [которым] пытаются обозначить квинтэссенцию как внутренней, так и внешней политики Петра I, часто используется и западными авторами»<sup>16</sup>.

Однако не случайно русская историческая традиция, воздавая должное деяниям Петра, вписывает их в преемственный ряд событий, начавшихся до его рождения и не

<sup>12</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937 (Вильнюс 1991), с. 12.

<sup>13</sup> Ключевский В. Цит. соч., с. 243.

<sup>14</sup> Там же, с. 242.

<sup>15</sup> Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 15.

<sup>16</sup> Баггер Х. Реформы Петра Великого. Обзор исследований. М., 1985, с. 34–35.

закончившихся, может быть, по сей день. Ибо отставание от Запада, осознанное еще прежде рождения Петра, остается кошмаром русской государственной, да, пожалуй, и не только государственной мысли уже четвертое столетие. И столько же длятся попытки модернизации, преодоления отставания. Догоняющее развитие, порождаемые им конфликты внутри общества и его культуры надолго становятся главным стержнем исторического пути России. Модернизация *советского общества* — не более чем этап, пусть и очень важный, этого пути.

В допетровской, а тем более послепетровской истории России было множество модернизирующих начинаний: все они либо растворились в политической стагнации последующих лет, либо были обращены вспять контрреформами<sup>17</sup>. И ни одно из них не избавило необратимо российское общество от кошмара отсталости. Поражение в Крымской войне спустя всего четыре десятилетия после победоносной войны с Наполеоном, Цусима после четырех десятилетий энергичного, казалось бы, пореформенного экономического развития, неудачи на фронтах Первой мировой войны — пусть и особенные, но неопровержимые признаки постоянно накапливающегося отставания, против которого были бессильны все реформы.

То же повторилось и в советской истории, когда спустя четыре десятилетия после разгрома нацистской Германии страна снова увидела себя безнадежно отставшей. Снова и снова Россия становилась на путь реформ, очередной их виток, казалось бы, сокращал отставание, порождал оптимизм и надежды, они подтверждались реальными успехами и победами, а какое-то время спустя снова обнаруживалось отставание, говорящее то ли об ограниченности реформ, то ли об отказе от них под давлением контрреформаторских сил. Общество как будто сопротивлялось обновлению, отторгало нововведения.

## 1.2. Догоняющее развитие и торможение

**П**очему же реформы оказывались неэффективными? Может быть, реформаторы неверно понимали отставание и его причины? А может быть, они не вольны были в своих действиях, наталкивавшихся на объективные пределы любой реформаторской активности?

Верно и то, и другое. Долгое время отставание осознавалось довольно поверхностно. Сначала русское общество могло увидеть и признать его с большим трудом и лишь частично. Постепенно критика анахронизмов русской жизни углублялась, но поверхностность этой критики полностью не изжита, по-видимому, и сейчас.

Говорить об отставании можно лишь тогда, когда есть возможность сравнивать. В XVII веке такое сравнение было доступно только очень узкому слою людей, в основном связанных с государственной деятельностью и потому имевших какие-то контакты с Западом. Народ же таких контактов не имел и никаких невыгодных для себя сравнений делать не мог. У него были свои повседневные заботы и трудности, но было и обычное

<sup>17</sup> А. Янов насчитывает 14 попыток реформ в России начиная с 1550 по 1985 г. (см. Янов А. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк, 1988, с. 397).

для всякого народа убеждение в превосходстве своего, завещанного отцами и дедами образа жизни, своей веры и своих нравов над образом жизни, верой и нравами любых иноземцев и иноверцев.

Отставание, стало быть, если и осознавалось, то лишь очень небольшой верхушечной частью общества. Но и она видела далеко не все, а возможно даже и не главные стороны этого отставания, по сути, лишь некоторые внешние его проявления: различия в политическом влиянии, военной мощи, богатстве, жизненном комфорте. Эти внешние различия и пытались устранить с помощью реформ. Позднее С. Соловьев искал истоки петровских реформ в экономическом отставании. «Бедный народ, — писал он, — сознал свою бедность и причины ее через сравнение с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которым заморские народы были обязаны своим богатством. Следовательно, дело должно было начаться с преобразования экономического»<sup>18</sup>. Комментируя эти слова Соловьева, Х. Баггер замечает, что их автор, «судя по всему, рассматривал „европеизацию“ не как самоцель, а как средство — прежде всего для стимулирования экономического развития страны»<sup>19</sup>. В. Ключевский видел главный движитель реформ в военной деятельности Петра. «Война указала порядок реформы, сообщила ей темп и самые приемы. Преобразовательные меры следовали одна за другой в том порядке, в каком вызывали их потребности, навязанные войной»<sup>20</sup>. Снова, стало быть, модернизация — не самоцель, а лишь средство. Реформы имеют инструментальную ориентацию, направлены не на переустройство всего социального тела, а лишь на переустройство некоторых его органов — для того, чтобы сохранить целое.

Отставание же было именно в строении всего «социального тела», оно пронизывало все устройство общества, его экономические отношения, культуру, повседневную жизнь и вязало реформаторов по рукам и ногам, обрекая на успех их самые лучшие начинания. Но русскому обществу эта мысль долгое время была недоступна. Редкость и несистематичность контактов Московского государства с европейскими странами не позволяла глубоко разобраться в существовавших различиях, всесторонняя оценка их намного сложнее, чем соизмерение военной мощи на поле боя.

Впрочем, главное было даже не в этом. Само понятие «отставание» не универсально. Оно имеет смысл только в системе представлений, которая выстраивает определенную последовательность исторического движения и отождествляет состояния различных обществ с этапами этого движения по единому для всех эволюционному пути. Для XX века такой взгляд на вещи довольно естествен, хотя и сейчас он разделяется не всеми. Но в России XVII–XVIII веков он попросту немислим, потому немисливо и объективное сравнение отечественного жизненного уклада с иноземными. Это были разные миры, каждый из них был дивен другому. Различия не истолковывались в терминах опережения и отставания, не вели к мысли о необходимости наверстывать упущенное.

Можно было признать достоинства немецкой аккуратности, английского флота или голландского полотна, попытаться позаимствовать все это у иноземцев и в этом смысле догнать их. Но никому и в голову не могло прийти заимствовать у немцев или англичан

<sup>18</sup> Соловьев С. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984, с. 30.

<sup>19</sup> Баггер Х. Цит. соч., с. 34.

<sup>20</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. IV, М., 1989, с. 57.

их систему экономических отношений, их политические порядки или их веру. Все это в России было свое, и здесь никакого отставания русские не видели, более того, были убеждены в превосходстве своих экономических, политических и религиозных институтов. Поэтому даже у радикального реформатора Петра I Ключевский отмечает «безотчетную склонность воспроизводить в нововведениях отзвуки минувшего»<sup>21</sup> и говорит, что «Петр взял из старой Руси государственные силы, верховную власть, право, сословия, а у Запада заимствовал технические средства для устройства армии, флота, государственного и народного хозяйства, правительственных учреждений»<sup>22</sup>.

Между тем отставание в средствах было вторичным, производным. Главное же, глубинное отставание поначалу, в лучшем случае, лишь смутно ощущалось отдельными наиболее проницательными людьми своего времени. Истинные его масштабы и причины оставались неосознанными еще очень долго. Идея исторической эволюции общества отступала перед мифологизацией и канонизацией неизменных черт народной жизни. Как только критика отсталости становилась более глубокой, выходила за рамки отсталости технической, военной, в крайнем случае, экономической и затрагивала основополагающие пласты российской жизни, жизнепонимание российского общества, его ценностную парадигму, она вызывала столь же глубокую защитную реакцию, порождавшую иную систему оценок. То, что у критиков (радикалов, революционеров) выглядело как отсталость, защитниками (консерваторами) прочитывалось как особенность русского общества и русской культуры. И те, и другие были по-своему правы. Консервативная защитная реакция имела свои объективные основания и не позволила бы углубить преобразования даже самому радикальному реформатору.

### 1.3. Простое общество: власть земли

**В**сякое развитие означает увеличение сложности развивающегося объекта, его внутренней дифференциации — идея не новая, а в последнее время получившая, благодаря успехам кибернетики, особенно широкое признание. Она справедлива и для общества: историческое развитие увеличивает сложность социальных систем, их внутреннее разнообразие. Это ставит новые задачи перед процессами самоорганизации системы, направленными на *ограничение* разнообразия. Рано или поздно старые механизмы самоорганизации — экономические, политические и прочие — перестают справляться с возросшим разнообразием, и становится необходимой их замена новыми.

Простота или сложность обществ могут быть поняты только в сравнении. Русское аграрное, сельское общество, существовавшее вплоть до XX века, свойственные ему формы общежития могли казаться очень сложными и только с высоты сегодняшнего дня выглядят «простыми». Простыми, чтобы не сказать примитивными, были и все его социальные механизмы. Соответствие уровней сложности общества и управляющих его жизнью социальных механизмов обеспечивало его целостность и жизнеспособность.

<sup>21</sup> Там же, с. 194.

<sup>22</sup> Там же, с. 198.

Большинство населения составляли крестьяне. Крестьянин в России жил как бы в самой глубине социальной матрешки: сам он находился внутри семьи, семья — внутри общины, а уж на семейно-общинном основании возводились все остальные этажи русского общества. В середине XIX века И. Киреевский так рисовал всю его иерархическую структуру: «Семейные отношения каждого были определены прежде его рождения; в таком же предопределенном порядке подчинялась семья миру, мир более обширный — сходке, сходка — вече и т. д., откуда все частные круги смыкались в одном центре, в одной Православной Церкви»<sup>23</sup>.

«Матрешечная» конструкция системы общественных связей по-своему сложна и эффективна. Она позволяет сочетать достаточно жесткое вертикальное соподчинение уровней социальной пирамиды с относительной самостоятельностью каждого уровня (это относится, в частности, к поземельным отношениям: право на пользование землей как бы распределено между уровнями, ни одному из которых она не принадлежит полностью). В силу малых размеров и значительной замкнутости сельской общины, в рамках которой протекала жизнь большинства людей, человек постоянно находился в непосредственном общении и взаимодействии с односельчанами, с сельским «миром», под его постоянным надзором, был связан со всеми взаимной ответственностью, круговой порукой. Такая система отношений предполагает многообразие неравенства, сложную иерархию личных зависимостей. В то же время все отношения персонифицированы, что придает жизни в этой системе «человеческую теплоту», о которой ностальгически вспоминают люди, оказавшиеся в мире городских обезличенных связей.

Но именно по сравнению с этим более поздним и более сложным миром описанная «матрешечная» социальная организация довольно примитивна. Хотя свойственная ей социальная иерархия может быть очень замысловатой, она малоподвижна, за человеком закреплено постоянное место более или менее ответственной детали раз навсегда сконструированной социальной машины. Сам же он рассматривается как нечто очень простое, внутренне недифференцированное, как элементарная частица, неделимый атом общества. Отсюда и относительная простота, недифференцированность постигающего социальную реальность общественного сознания, его синкретизм.

Натуральное крестьянское хозяйство, простые общественные связи и примитивные формы их опосредования, синкретическое мышление, холистская, «соборная» ценностная парадигма — главные устои русского аграрного общества, гаранты его целостности и жизнеспособности. От них неотделимы социально-психологические черты человека, воспитанного в рамках традиционных деревенских отношений: неразвитость индивидуальной личности, ее растворенность в общине, низкая социальная мобильность, неприязнь к нововведениям, вера в незыблемость твердо установленного порядка и авторитета его хранителей — институционализированных представителей социальной иерархии — от главы семьи, «большака» до батюшки-царя.

Основу всего этого порядка многие думающие люди в России конца XIX века видели во «власти земли» — метафора, с помощью которой они пытались осмыслить внут-

<sup>23</sup> Киреевский И. В. В ответ А. Хомякову. // Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979, с. 149.

ренную обусловленность и слаженность жизни русской деревни. Глеб Успенский — а именно он ввел в оборот понятие «власть земли» — усматривал в ней то организующее начало, что веками управляло поступками всякого крестьянина, было главным «не только по отношению к народному брюху, но и по отношению к народному духу, к народной мысли, ко всему складу народной жизни»<sup>24</sup>. Люди, из поколения в поколение возделывающие ржаное поле и зависящие от него во всем, не могут жить иначе, чем требует это поле. «У земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые принадлежали бы не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой»<sup>25</sup>. «Для этой травинки, для того, чтобы она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях»<sup>26</sup>.

Концепция власти земли многое позволяла понять и объяснить в жизни российской деревни, а значит и всего российского общества, по преимуществу крестьянского. Но были у нее и свои границы. «Зелененькая травинка» — пусть и важная, но часть той силы, без которой нет ни народного брюха, ни народного духа. А чтобы оценить всю эту силу, надо принять во внимание и те невидимые *социальные* нити, на которых также держалась эта связь крестьянина с землей. Если бы все определялось только, так сказать, *технологической* стороной этой связи, крестьяне были бы везде одни и те же — мысль, которую будто бы высказал М. Горький и к которой с большим сомнением отнесся Ф. Бродель<sup>27</sup>. Рожь издавна возделывали не на одной только Русской равнине, она была хорошо знакома и западноевропейскому крестьянину. Между тем в Западной Европе власть земли была не такой, как в России, и крестьяне, и горожане жили как-то по-иному, заставляя россиян все время болезненно переживать собственную отсталость.

В чем же была причина различий? Ответить на этот вопрос нельзя, если не понять той альтернативы «простому» сельскому обществу российского типа, которая выработалась в ходе развития «сложных» западных городских обществ. Различия здесь не географические, а исторические.

#### 1.4. Сложное общество: власть денег

**П**ричины несхожести крестьян и крестьянской жизни, а позднее и некрестьянских обществ на западе и на востоке Европы, глубинные корни длившейся не один век российской отсталости — прежде всего в давних различиях земельных отношений, принципов, на которых строилось крестьянское пользование землей — главным средством производства и главным богатством аграрных обществ. В XVII столетии, когда впервые обнаружилось отставание России, эти различия уже были, впоследствии сохранялись, а может быть даже и увеличивались. Влияние их не исчезло и по сей день.

<sup>24</sup> Успенский Г. И. Власть земли. // Собр. соч. в 9 томах. М., 1956, т. 5, с. 177.

<sup>25</sup> Там же, с. 119.

<sup>26</sup> Там же, с. 176.

<sup>27</sup> Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М., 1988, с. 247.

Конечно, происхождение различий в поземельных отношениях само требует объяснения. Скорее всего оно также связано с определенным историческим «запаздыванием», попросту говоря, с тем, что земледелие на Руси сложилось намного позднее, чем в Западной Европе. Такому *историческому* объяснению можно противопоставить какие-либо иные. Например, можно попытаться вывести их из особенностей природно-климатических условий, из-за которых продуктивность сельского хозяйства в России была намного ниже, «объем совокупного прибавочного продукта... значительно меньше, а условия его создания хуже, чем в Западной Европе»<sup>28</sup>, что и «вызвало к жизни такой мощный инструмент экономической и социальной поддержки крестьянина-земледельца, каким была община..., сыгравшая главенствующую роль в жизни российского народа»<sup>29</sup>. На полях России был очень короткий рабочий сезон — с начала мая до начала октября по новому стилю, на полях же Европы не работали лишь декабрь и январь. Это обстоятельство и обусловило там «на заре цивилизации» появление мелких земельных собственников-земледельцев, а «раннее упрочение индивидуального крестьянского хозяйства стимулировало появление частной собственности на землю, активное вовлечение земли в сферу купли-продажи» и т. п.<sup>30</sup>

Если это — объяснение, то как же тогда объяснить отсутствие земельной собственности у народов, живущих в южных широтах и снимающих два урожая за сезон? Да и в Западной Европе «на заре цивилизации» все было примерно так же, как и в России, только «заря» там разгорелась намного раньше. Юлий Цезарь еще в I веке до н. э. с удивлением писал о германцах, что «у них вовсе нет земельной собственности, и никому не позволяется больше года оставаться на одном месте для обработки земли»<sup>31</sup>. О том же упоминал Тацит полтора столетия спустя: «земли для обработки они поочередно занимают всюю общиной по числу земледельцев, а затем делят их между собою, смотря по достоинству каждого»<sup>32</sup>. В это время на территории будущего Российского государства вообще никто не пахал землю.

Западная Европа приближалась к частной собственности крестьян на землю долго. О ней нельзя было еще говорить и в XVI веке. Но тогда движение к ней уже шло неотвратимо. Обычная норма — наследственное пользование наделом и его неделимость при наследовании (как правило, одним из сыновей). Барщинная система уже к XIV–XV векам постепенно вытесняется; суживается и сфера натурального оброка. Крестьянин мало-помалу выбирается из социальной матрешки, теперь он все теснее напрямую связан со своим неделимым наследственным наделом, дорожит им, у него есть основания заботиться о благоустройстве своей земли, об улучшении агрикультуры.

<sup>28</sup> Милов Л. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса. // Вопросы истории, 1992, 4–5, с. 53.

<sup>29</sup> Милов Л. Если говорить серьезно о частной собственности на землю... Свободная мысль, 1993, 2, с. 81.

<sup>30</sup> Там же, с. 77.

<sup>31</sup> Цезарь Ю. Галльская война. // Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. М., 1962, кн. 4, 1, с. 52.

<sup>32</sup> Тацит К. О происхождении германцев и местоположении Германии. // Тацит К. Сочинения в двух томах. Л., 1969, т. 1, п. 26, с. 364.

В России в это время — в XVI веке — все по-иному. Здесь, по словам В. Ключевского, «мы имеем дело с бродячим и мелко разбросанным сельским населением, которое, не имея средств или побуждений широко и усидчиво разрабатывать лежавшие перед ним обширные лесные пространства, пробавлялось скудными пахотными участками и, сорвав с них несколько урожаев, бросало их на бессрочный отдых, чтобы на другой целине повторить прежние операции»<sup>33</sup>. Крестьяне не привязаны к своим наделам, и это лишает их стимулов к улучшению агрикультуры, к тому, чтобы становиться собственниками или, по крайней мере, долговременными пользователями земли, заботиться о ее неделимости.

При этом Россия и движется совсем не в том направлении, что ее западные соседи. Здесь — настоящая пропасть между ними, главное проявление исторического отставания. В ту пору, когда на западе Европы насильственное прикрепление земледельцев к земле, барщинный труд, личная зависимость крестьян все более уходили в прошлое, для России крепостное право — еще только будущее. На западе Европы всю развиваются рынок и рыночные институты, денежное обращение, аренда земли за деньги почти полностью вытесняет испольщину. Земля все чаще продается и покупается, цены на нее растут. Растет и ипотечная задолженность крестьян, старающихся удержаться на своих — хотя и не собственных — наделах. Власть земли уже далеко небезраздельна, она очень сильно потеснена властью денег, и эта новая власть взломала скорлупу сельского мира, разрушила его замкнутость, втянула человека в сложные и многообразные социальные связи, какие прежде ему и не снились. Идея крестьянской собственности на землю просто стучится в дверь, жизнь сама готовит Кодекс Наполеона.

Не то на востоке Европы. Здесь расцветают барщина и натуральный оброк, в отличие от европейских наследуемых неделимых крестьянских наделов утверждается система семейных разделов и уравнильных переделов земли внутри общины. Крепостной крестьянин — это, конечно, уже не тот «малоусидчивый землепашец» XVI века, о котором писал Ключевский<sup>34</sup>, а все равно он еще очень далек от европейского наследственного землепользователя. И даже столетия спустя, после отмены крепостного права, уже на пороге XX века идея наследственного землепользования, а тем более частной собственности на землю не вызрела в российском обществе, кажется чем-то инородным в русской деревне.

Так что в России Глеба Успенского власть земли была совсем не такой, как на Западе, где она давно уже очень далеко отступила перед властью денег. Житель европейской деревни в гораздо большей степени чувствовал себя хозяином земли, нежели ее подданным. А такая деревня шла навстречу более глубоким изменениям всего общества, его превращению в городское, рыночное. Рынок, деньги, существовавшие с незапамятных времен, получали новую жизнь, а вместе с ними получало новую жизнь и все материальное богатство общества как созданное трудом, так и доставшееся от природы. Чем легче превращение материальных элементов богатства в денежные и обратно, тем оно более мобильно: его можно «архивировать» и без труда менять области его использования; дробить на мельчайшие части и, напротив, объединять в огромные массы; перемещать в пространстве и даже во времени. Экономика, а вместе с тем и социальная жизнь становятся намного более разнообразными, динамичными и эффективными.

<sup>33</sup> Ключевский В. Курс русской истории. Ч. II, М., 1988, с. 273.

<sup>34</sup> Там же, с. 289.

Новая подвижность богатства и новое разнообразие его форм означают и новую подвижность человека. Рыночная экономика позволяет разорвать прямые межличностные связи и заменить их связями опосредованными. Производитель и потребитель, которые прежде, как правило, лично знали друг друга, теперь могут никогда не встретиться — рынок и деньги свяжут их между собой. Это делает жизнь в городском обществе анонимной, внешний надзор за каждым — невозможным. Теряют смысл прежние социальные регуляторы человеческого поведения, уходят в прошлое личная зависимость, «матрешечные» средневековые социальные структуры, непосредственная цензура крестьянской общины или городского цеха, замысловатая иерархия статусов, сословные перегородки.

Может показаться — и многим кажется, — что общество не усложняется, а упрощается, и говорить надо не о развитии, а о деградации, утрате «цветущей сложности» времен феодальной аристократии, рыцарства, сословий, монастырей, цехов. «Эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития... Прогресс..., борющийся против всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п., есть не что иное, как... процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически... свойственны общественному телу»<sup>35</sup>. «Европа с XVIII столетия уравнивается постепенно..., стремится... к идеалу однообразной простоты»<sup>36</sup>.

К. Леонтьев, которому принадлежат все эти инвективы, один из самых последовательных русских противников «западного индивидуализма», верно отмечает «сглаживание морфологических очертаний общественного тела»<sup>37</sup>. Сложность средневековых социальных структур и в самом деле была разрушена, власть случайных факторов, предопределявших острее всего разнообразие разделенных перегородками локальных миров, социальных положений, индивидуальных судеб, была резко ограничена. Об этом и в Европе многие сожалели. Но там все сильнее осознавалось, что неподвижное разнообразие одноразовой случайности уступало место подвижному разнообразию постоянного выбора. Мир не просто усложнился, он пришел в непрерывное движение. Изображение из мозаики — сложная вещь, но сравните его с непрерывно меняющейся мозаикой огней ночного города, и вы поймете, как велика разница в сложности статичной и динамичной картин.

Леонтьев, конечно, был прав, подчеркивая значение деспотизма для средневековых общественных организмов, которые он считал вершиной сложности. Но со сложностью нового, динамичного, многомерного мира никакой деспотизм справиться не может, как не может художник, уверенно выкладывающий из смальты заранее продуманный портрет или пейзаж, управлять мерцанием ночных огней: они живут своей жизнью, а не жизнью, предписанной художником. Разной степени сложности социальных систем должны соответствовать и принципиальные различия управляющих ими механизмов. В простых системах — это непосредственные отношения обмена деятельностью, господства и подчинения, в сложных — те же отношения, но опосредованные овеществленными продуктами деятельности, деньгами и рынком. «Рынок» и «город» — главные, выработанные историческим развитием, располагающие неограниченным числом «каналов

<sup>35</sup> Леонтьев К. Византизм и славянство. // Избранное. М., 1993, с. 76.

<sup>36</sup> Там же, с. 94.

<sup>37</sup> Там же, с. 76.

связи» регуляторы, которые позволяют ограничивать резко возросшее разнообразие социального поведения людей и упорядочивать его в соответствии с внутренними целями общества. Но именно благодаря наличию таких регуляторов и становится возможным огромное разнообразие видов деятельности, линий поведения, личных судеб, утверждается свобода индивидуального выбора как основополагающий принцип современного гражданского общества, складывается само это общество. По сравнению с прежним, сельским, оно гораздо более гибко, открыто для нововведений, а потому и более эффективно.

Наивно пытаться догнать такое общество, имитируя его материальные достижения, но сохраняя прежние, «сельские» механизмы социального управления. Сколько ни пытайся добавить к серпу молот, превратить общество из аграрного в индустриальное, сколько ни строй городов, без кардинальной смены механизмов социального управления оно будет оставаться сельским и застойным. Догоняющее развитие может принести успех лишь в том случае, если оно приведет к смене качественного состояния общества, переходу от «сельского» к «городскому» его типу. Но этот скачок непросто совершить, не пережив тяжелейшего кризиса старого общества, избежав жесточайших конфликтов между тем, что должно исчезнуть, и тем, что идет ему на смену. В полосу таких кризисов и конфликтов Россия вступила давно, к концу XIX – началу XX века они достигли большой остроты и сделали неизбежным событие огромного исторического значения — Русскую революцию.

## 1.5. Кризис русского аграрного строя: от власти земли к власти денег

Сколько бы ни говорилось об отсталости дореволюционной России, сама по себе отсталость — еще не свидетельство кризиса. Кризис — это характеристика внутреннего состояния общества, напряженности противоречий, возникающих вследствие рассогласования его основ. Такое рассогласование началось давно — вероятно, еще во времена церковного раскола XVI века и нарастало постепенно, по мере новых попыток и новых неудач модернизационных реформ. К концу XIX века оно охватило значительную часть общества, затронуло все его слои.

Решающее значение имело то, что подошли к своему историческому пределу недавно еще вполне жизнеспособные в России формы деревенской жизни. В деревне, особенно после отмены в 1861 г. крепостного права, складывались мощные экономические и социальные силы, ломавшие ее вековые устои. Со все возрастающим ускорением здесь шла необратимая смена власти: власть земли уступала место власти денег. Новая власть требовала и новых форм общежития. Страна двигалась к ним медленно, ощупью.

Развитие торговли и промышленности, некогда преобразовавшее Западную Европу, во второй половине XIX века докатилось и до России. Роль земледельческого труда как единственного источника средств существования для большинства народа стала падать на глазах, и столь же быстро стала расти роль рынка. Власть денег буквально

но ворвалась в жизнь деревни. И первое, что сделала эта безликая власть, — она стала разрушать вековой лад крестьянской жизни. Литература второй половины прошлого века наполнена примерами наступившего разлада. Вот один из них, заимствованный у Г. Успенского.

«Разлад этот, начавший проникать в семейство, как и во все русские деревни, по мере того, как в деревню сделался возможным доступ заработка не исключительно земледельческого, тронул описываемое мною семейство уже довольно давно. Покуда семья эта была исключительно земледельческая, совместная общинно-семейная жизнь была всем понятна: все работают одно и то же дело, все потребляют вместе выработанный продукт, все озабочены одной и той же заботой — успешностью земледельческого труда. Все ему подчинено, и подчинение это всякому члену понятно... <Теперь же> ...почти все... более или менее расшатаны уже в нравственных основах. Первая расшатывающая новость новых времен — это упразднение сознания рабства, принадлежности другому человеку, барину. Эта новость, самая лучшая из всех, какие только ни посещали семью в последние годы... , тотчас же была заменена новой неудобною новостью, урезкою угодий, земли... Земли стало меньше, но времени для ее обработки прибавилось, а вместе с тем получился остаток сил, прежде поглощавшийся исключительно земледельческим и своим и барским трудом. Этот остаток сил не остался праздным и немедленно же пошел в обиход. Один из средних братьев поехал в Питер в зимние легковые извозчики; другой, тоже средний, сделался лесником и стал получать жалованье, а вместе с заработками того и другого началось и разрушение стройности земледельческого семейного союза... Всей этой разладины невозможно изобразить во всей полноте...»<sup>38</sup>.

Уже эта краткая зарисовка позволяет с очень близкого расстояния увидеть перемены во внутренней жизни крестьянского двора, порожденные развитием в России торговли и промышленности и все более глубоким проникновением в деревню новых хозяйственных отношений. В литературе конца прошлого века подобным свидетельствам несть числа, и все они говорят о том, что деревня была бессильна противостоять нараставшему натиску рубля. «...Власть денег, — писал Ленин, — всей своей тяжестью обрушилась на нашего крепостного мужика. Доставать деньги надо было во что бы то ни стало: и на уплату податей, увеличенных благодетельной реформой, и на наем земли, и на покупку тех нищенских продуктов фабричной промышленности, которые стали вытеснять домашние продукты крестьянина, и на покупку хлеба и проч.»<sup>39</sup>.

Об этом же в несколько иной тональности писал и Милюков. «Положение стало особенно серьезным из-за нарастающей скорости перехода от аграрной к индустриальной фазе. Причины нарастающей скорости перехода, от, так сказать, „домашнего“, „натурального хозяйства“ к „обменной экономике“ многочисленны и достаточно сложны. Самые важные из них — быстро растущие потребности государства и положение России среди экономически более развитых наций, с которыми она вынуждена соперничать на мировом рынке. ...Покупки, которые русский крестьянин вынужден делать на рынке, неизбежны. Увеличение его расходов на питание, освещение и т. д. отнюдь не означает роста благосостояния, напротив, это признак обнищания»<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Успенский Г. И. Без определенных занятий. // Собр. соч. в 9 томах, т. 4, с. 447–450.

<sup>39</sup> Ленин В. И. Рабочая партия и крестьянство. // Полн. собр. сочинений, т. 4, с. 431.

<sup>40</sup> Милюков П. Оп. cit., p. 323–324, 326.

«Смена власти» в деревне должна была иметь для нее, а значит и для всего общества огромные последствия. Они сразу же проявились, быстро нарастали, всеми ощущались. Главное и общее заключалось в том, что впервые появилась сила, разрушающая монолит крестьянского общества изнутри. Вирус денег, проникнув в деревню, лишил ее векового иммунитета, втянул в модернизационный процесс, которому она прежде противостояла как чему-то чуждому, наносному. Деревня стала не только объектом, но и субъектом модернизации. С этого времени русское аграрное общество вступило в полосу общего необратимого кризиса.

Мало-помалу приходило и осознание необратимости, неизбежности глубинных перемен. Российское общество становилось все более самокритичным. Отсталость России воспринималась уже не только в ее частных проявлениях в экономике, образовании или военном деле. Объектом критики становится все устройство российского общества, отсталость которого видится как внутренне присущая ему черта. Ее преодоление требует чего-то большего, нежели приток капиталов, развитие внутреннего рынка, увеличение числа специалистов и т. д. Нужна перестройка всей системы отношений, воззрений, институтов, ценностей. Ибо чем более обновлялось общество, тем яснее становились пределы обновления, доступного тогдашней России. Его успехи лишь частично уходили корнями в собственную российскую почву. Многие были заимствованы, перенесены с Запада или вызрели в среде отечественной верхушечной элиты и не находило должного отклика в массовом народном сознании и поведении.

Для дальнейшего развития капитализма, роста торговли, денежного обращения, промышленности, городов, образования и т. д. нужны были изменения самой «почвы», чтобы она могла самостоятельно питать все новые и новые экономические и прочие успехи страны. Задача преодоления отсталости слилась с задачей полного пересмотра экономического и социального строя, смены типа общества. Не все направления российской общественной мысли соглашались с таким пониманием стоявших перед страной задач, но все осознавали глубину и опасность кризиса и напряженно искали верного пути России в будущее.

## 1.6. В поисках образа будущего

**Р**ыночное, промышленно-городское хозяйство с трудом прививалось к стволу русского аграрного общества, долгое время было для него инородным телом, вызвало реакцию отторжения. Но все же перемены шли, и в начале века в России были люди, твердо убежденные в том, что «историческое развитие совершается у нас в том же направлении, как совершалось и везде в Европе»<sup>41</sup>. Сходство с Европой — не подражательная цель, утверждал Милюков, а «естественное последствие схождения самих потребностей» общества. «Само собой разумеется, — продолжал он, — что сходство никогда не дойдет при этом до полного тождества... Мы не должны обманывать себя и других страхом перед мнимой изменой нашей национальной традиции. Если наше прошлое и связано с настоящим, то только как баласт, тянущий нас книзу, хотя с каждым днем все слабее и слабее»<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1992, с. 29.

<sup>42</sup> Там же, с. 30–31.

Похоже, однако, что Милоков недооценивал вес «баласта прошлого». В России утверждался новый тип разделения труда, отношений между агентами экономического процесса, в конечном счете, — новый тип общества и человека, а это угрожало глубинным основам укоренившегося порядка вещей, его традиционной «почве». Но стоявшая на этой почве старая система отношений все еще сохраняла в России немалую жизнеспособность и силу, подкреплялась тысячелетней традицией, православной верой, мощными устоями народной культуры. Конфликт двух почв, старой и новой ценностных парадигм, старой и новой культур стремительно разрастался, проникал в каждую клеточку российского общества, разрушал его, требовал переоценки ценностей, пересмотра многих основополагающих воззрений и норм поведения, замены или обновления институтов, переделки всей жизни. Экономические успехи только обостряли этот конфликт. Они демонстрировали эффективность новых жизненных принципов, но одновременно вызывали отчаянное сопротивление традиционного, патриархального российского общества.

Оно давно почувствовало угрозу и стало возводить свои линии обороны против набравшей силу петровской, «петербургской» традиции, против ценностей наступавшей промышленно-городской цивилизации.

Порой дело доходило до полного отрицания всего нового, даже если речь шла о чисто материальных, технических достижениях. «Зачем эта скорость сообщений? — вопрошал Гоголь. — Что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги, что приобрело оно во всех родах своего развития? ...В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует...»<sup>43</sup>. И К. Леонтьев протестовал против «машин и вообще... всего этого физико-химического умственного разврата...», этой страсти орудиями мира неорганического губить везде органическую жизнь..., растительное разнообразие, животный мир и самое общество человеческое...»<sup>44</sup>.

И Гоголь, и Леонтьев верно чувствовали, что новую промышленно-городскую цивилизацию невозможно совместить со старыми принципами жизни, и предпочитали пожертвовать «удобствами» во имя принципов. Их позиция была, пожалуй, наиболее последовательной. Но будущего у нее не было. К концу XIX века выбор России полностью определился, она твердо встала на путь ускоренного экономического, в том числе и промышленного развития, а тем самым и на путь безусловной всесторонней модернизации. Становились все более ощутимыми и полезные результаты сделанного выбора, что умножало число сторонников перемен. (Блок о России: «Новым ты обернулась мне лицом, // И другая волнует мечта... // Уголь стонет, и соль забелелась, // И железная воет руда... // То над степью пустой загорелась // Мне Америки новой звезда!») В то же время обострялись и «язвы» раннего капитализма, так что его критика не только не утихла, но становилась все более острой. В общественном сознании должен был каким-то образом уложиться целый ряд плохо совмещавшихся фактов: (1) существование устоявшейся цивилизации с привычными, понятными народу жизненным укладом, культурой, верой и т. д.; (2) вторжение цивилизации иного типа, привлекавшей все новые и новые слои российского общества и потому угрожавшей самому существованию преж-

<sup>43</sup> Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо XXVIII.

<sup>44</sup> Леонтьев К. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. // Избранное, с. 139.

него строя жизни; (3) внутренняя противоречивость как старой, так и новой цивилизаций, легко различимые в них «положительные» и «отрицательные» стороны.

Чисто охранительная позиция в духе Гоголя или Леонтьева могла быть лишь одной из многих, принадлежала одному из полюсов спектра возможных взглядов на взаимоотношение России с «западной цивилизацией». На другом его краю находились полярно противоположные взгляды — их олицетворяли либералы типа Милюкова, считавшего западный путь развития естественным и единственно возможным для России.

Но преобладали не эти крайние, а разнообразные промежуточные позиции, допускавшие всевозможные степени сочетания «старого» и «нового», «своего» и «чужого». Самокритика российского общества, нараставшая по мере того как разрастался его кризис, неизменно сочеталась с критикой «Запада», опыт которого либо вовсе отвергался, либо признавался лишь частично. Эти две критики сопутствовали всем поискам исторической дороги России. Их постоянное сосуществование в общественном сознании и даже в сознании отдельных людей — выразителей общественных дум — все время подталкивало к поискам такого будущего для России, которое было бы лишено недостатков как «допетровской традиции», так и «Запада», но соединяло бы их достоинства.

Проблема заключается, однако, в том, что и «свое», и «чужое» — это бесспорные реальности российской или европейской истории. Что бы ни думали о западной модели развития, она *осуществима*, что и доказано европейским опытом. В отношении же комбинированных проектов будущего таких доказательств нет. Они вполне могут существовать только в головах идеологов, и ни из чего не следует, что они вообще осуществимы или приведут к результату, на который рассчитывают их авторы. Статус таких проектов — это статус благих пожеланий, статус утопий.

Из благих пожеланий созидали свой проект славянофилы. Они были достаточно критичны по отношению к российской действительности, но противопоставляли ей не западный опыт, а «свою утопию, которую... считали поистине русской... Так как все должно быть органическим, то не должно быть ничего формального, юридического, не нужны никакие правовые гарантии... Все должно быть основано на доверии, любви и свободе»<sup>45</sup>. Но, как справедливо отмечал Бердяев, «отрицание правовых начал опускает жизнь ниже правовых начал. Гарантий прав человеческой личности не нужно в отношениях любви, но отношения в человеческих обществах очень мало походят на отношения любви»<sup>46</sup>.

По мнению В. Соловьева, у славянофилов не было идеалов будущего, а была лишь идеализация прошлого, Московской и домосковской Руси. Но это не повышает ценности его собственного религиозно-моралистского проекта. Не первый путь — «один господин и мертвая масса рабов», читай, деспотизм старого русского образца. Не второй путь — «всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи», читай, либеральный западный капитализм. Но третий, который «дает положительное содержание двум первым... примиряет единство высшего начала со свободной множественностью частных форм и элементов». «Третья сила... может быть только откровением высшего божественного мира... От народа —

<sup>45</sup> Бердяев Н. Русская идея. (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века.) Париж, 1946, с. 52.

<sup>46</sup> Там же.

носителя третьей божественной силы требуется... равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру Славянства, в особенности же национальному характеру русского народа»<sup>47</sup>.

Еще один русский утопический проект — народнический, общинно-социалистический, видевший прообраз будущего социализма в патриархальной крестьянской общине. Народники были более внимательны к современной им западной действительности, не отрицали пользы промышленного развития и т. п., но тем более явственно выступают в их идеологии поиски «третьего пути», вожденного сочетания достоинств России и Запада без их недостатков. «Желательно развитие производительных сил, но... в процессе некапиталистической эволюции. Для этого должны быть использованы все условия, все формы народной жизни..., которые... существуют вне капитализма и вызваны (или могут быть вызваны) к жизни не им»<sup>48</sup>.

Ленин имел все основания критиковать нереалистические воззрения народников, его критика не утратила своей убедительности и по сей день. Но, парадоксальным образом, вдохновленный им большевистский проект модернизации России, который, неоднократно трансформируясь, воплощался в жизнь на протяжении семи десятилетий, также изначально подталкивал российское общество на утопический, тупиковый третий путь. Большевики не просто унаследовали давнюю российскую традицию «двух критик», но со временем довели ее до предела. Никто не осуждал с такой яростью российскую отсталость, «пережитки феодализма», царское самодержавие и т. д. — и никто не демонстрировал такой враждебности Западу, заклеймленному как «буржуазный», «капиталистический», «империалистический», враждебности, сделавшейся на долгие годы чертой государственной политики СССР.

Эта двойная, временами доходившая до иступления критика, была оборотной стороной осуществлявшегося большевиками проекта модернизации России. Образ будущего, который вел большевистских революционеров, особенно после их прихода к власти, складывался из двух разнородных частей.

**Первой**, «инструментальной» составляющей этого образа была западная материальная цивилизация с ее промышленностью, городами, всеобщей грамотностью и т. д. Это относилось к числу «достоинств» Запада (или, что то же, капитализма) и подлежало заимствованию. Поэтому совершенно естественным образом ядром всей большевистской программы преобразования России стало ускоренное развитие индустриальной экономики как главного орудия достижения эффективности, богатства, военного могущества. Страной овладела идея превращения «из отсталой аграрной в передовую индустриальную». «...Мы доведем дело до того, — настаивал Ленин, — чтобы хозяйственная база из мелкокрестьянской перешла в крупнопромышленную. Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хо-

<sup>47</sup> Соловьев В. Три силы. // Соловьев В. Избранное. М., 1990, с. 57–58.

<sup>48</sup> Чернов В. М. К вопросу о «положительных» и «отрицательных» сторонах капитализма. // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX – начала XX в. Избранные произведения. М., 1994, с. 37.

зайство и транспорт будет подведена техническая база современной промышленности, только тогда мы победим окончательно»<sup>49</sup>.

По-видимому, эта идея была одной из наиболее сильных сторон большевистской идеологии, обеспечившей ей очень широкую поддержку. Она отвечала историческому нетерпению обновлявшегося российского общества, все более осознававшего экономическое отставание от Запада, и в то же время давним вождениям «государственной мысли», озабоченной державными целями, какой бы ценой они ни достигались. Уверенно включая западную материальную цивилизацию в свой образ будущего, большевики выражали, таким образом, настроения весьма значительной части российского общества или, во всяком случае, его политически и социально активных слоев.

Так же, если не еще более определенно, обстояло дело и со **второй** составляющей этого образа — его эгалитаристской, псевдоколлективистской, антирыночной, антибуржуазной, антизападной, одним словом, «социалистической» утопией. Расхожее клише связывает ее с марксизмом, но ничего специфически марксистского в ней не было. «Русская мысль XIX века в значительной своей части была окрашена социалистически... Славянофилы так же отрицали западное буржуазное понимание частной собственности, как и социалисты революционного направления. Все почти думали, что русский народ призван осуществить социальную правду, братство людей. Все надеялись, что Россия избежит неправды и зла капитализма, что она сможет перейти к лучшему социальному строю, минуя капиталистический период в экономическом развитии»<sup>50</sup>. Ленин, конечно, был свободен от многих народнически-социалистических иллюзий, но не от представлений о капитализме как «неправде и зле» и не от веры в возможность построить в России некапиталистическое, нигде ранее не существовавшее новое общество. Оно должно было сочетать в себе материально-технические достижения Запада с экономическими и социальными добродетелями, которые на деле были очень близки добродетелям общинной крестьянской России: безденежности, безрыночности, уравнительности, помещицкому или государственному патернализму.

Понимаемая таким образом «социалистическая» направленность большевизма, стало быть, также соответствовала настроениям, широко распространенным в русском обществе. По мнению Бердяева, вся история русской интеллигенции готовила коммунизм, в который вошли «знакомые черты», в частности жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите<sup>51</sup>.

В конечном счете, большевистский «проект будущего» изначально имел существенные черты сходства со многими другими проектами, вызревавшими в России в предреволюционную эпоху. Как и они, он был навеян успехами Запада и в то же время уходил корнями в реальную российскую жизнь. Он складывался из двух разнород-

<sup>49</sup> Ленин В. И. VIII Всероссийский съезд советов. Доклад о деятельности Совета народных комиссаров. // Полн. собр. сочинений, т. 42, с. 159.

<sup>50</sup> Бердяев Н. Русская идея, с. 101–102.

<sup>51</sup> См. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма, с. 100.

ных, плохо совместимых частей, но обе они были взяты из настоящего, и иного материала ни у большевиков, ни у кого другого не было. Когда большевики приступили к реализации своего проекта, они в полной мере познали, что значит «сопротивление материала» в истории.

## 1.7. На пороге «консервативной революции»

**Р**еволуции 1917 г. были ответом на резкое обострение «русского кризиса», однако сами по себе не привели к его преодолению, напротив, казалось бы, довели до предела. Они, конечно, разрушили многие препятствия, стоявшие на пути радикальных перемен. Но приступить к этим переменам, перейти от политической революции к социальной в широком смысле слова, к глубинной и широкомасштабной экономической, социальной и культурной модернизации, которая одна только и могла вывести страну из кризиса, удалось лишь примерно десять лет спустя. Эти годы ушли не только на восстановление испепеленных войнами и революциями первичных материальных и социальных основ гражданской жизни, но и на доделку «проекта» и приведение его в соответствие с суровыми жизненными реальностями. Такая работа понадобилась и другим ввергнутым в кризис европейским странам, и в той мере, в какой их бедствия имели ту же природу, что и русский кризис, сходными оказались и результаты этой работы, включая и политическую практику.

В России чрезвычайно широко распространен миф о ее особом историческом пути, в частности же, о необыкновенной исключительности того, что произошло в России в XX веке. Спору нет, в развитии страны на протяжении последнего столетия явно проявились самобытные, заданные особенностями отечественной истории черты. Их отпечаток лежит и на русском большевизме, на его видении будущего России в начале века и на его последующей эволюции. Но не меньшее, а может быть, и большее значение имели некоторые универсальные процессы — их можно обнаружить при более или менее сходных исторических обстоятельствах, а именно обстоятельствах догоняющей модернизации, в очень многих странах. Россия стоит в общем ряду таких стран, не открывая и не замыкая его. Начинается же этот ряд, скорее всего, с Германии, которой также пришлось догонять своих вырвавшихся вперед западных соседей. Ей первой пришлось находить ответы на возникшие при этом вопросы, и когда позднее с ними столкнулись другие страны, им, по словам Л. Дюмона, «пришлось либо самим придумывать сходные ответы..., либо прибегнуть к немецким рецептам, имевшимся в их распоряжении... В каком-то смысле можно сказать, что немцы подготовили наиболее легко усваиваемые версии модернизационных нововведений для вновь прибывающих»<sup>52</sup>.

И географически, и исторически Россия была ближе к Германии, чем многие другие страны мира, постепенно втягивавшиеся в модернизацию во второй половине XIX или в XX веке. Соответственно и связи России с Германией были более тесными и, если можно так сказать, более интимными. Русские и немцы «по сравнению с другими народами, испытали гораздо более глубокое потрясение от стремительного вторжения в их куль-

<sup>52</sup> Dumont L. Homo aequalis, II. L'idéologie allemande. Paris, 1991, p. 43.

туру того нового, что принесли с собой Просвещение XVIII в. и Французская революция... Оба народа с давних пор консервативно относились к порядкам старой Европы... В результате... запоздалого проникновения духа обновления и конфронтации с ним русско-немецкая близость, существовавшая и до этого исторического момента, приобрела особое качество и измерение»<sup>53</sup>.

Хотя немцы были первооткрывателями, со временем возник немецко-русский диалог, в ходе которого шло уже не простое усвоение Россией немецких достижений, но взаимный обмен опытом, а иногда Россия даже опережала Германию. Эта ситуация отразилась, между прочим, в идее Ленина о перемещении центра мирового революционного движения из Германии в Россию, всерьез воспринятой не только в России, но и в Германии.

Близость России и Германии сказывалась, в частности, в сходном видении идеального будущего. Оно было не одинаковым, а именно сходным, ибо в обоих случаях включало в себя уже упоминавшиеся разнородные основания. Общественные настроения и в России, и в Германии начала XX века все сильнее склонялись в пользу быстрого промышленного развития. Голоса критиков индустриализма постепенно заглушались голосами его поклонников, нередко чрезмерных. Но так как индустриализм здесь был запоздалым и заимствованным, он воспринимался как нечто отдельное от «западной» социальной почвы, которая его вскормила и отношение к которой оставалось весьма критическим. Модернизация не осознавалась во всей ее сложности, как многосторонняя и глубинная перестройка всего социального тела, а становилась чуть ли не синонимом одного лишь промышленно-технического прогресса, который можно сочетать с сохранением социальной архаики.

Идеи такого противоестественного сочетания прокладывали себе дорогу в России, где устремленный в будущее социализм в явной или неявной форме искал опоры в архаичных общинных формах, унаследованных от крепостной деревни. Похожим, хотя и на свой манер, многим виделось будущее и в Германии. Не случайно утверждение Шпенглера о том, что «старопрусский дух и социалистический образ мышления, ныне ненавидящие друг друга ненавистью братьев, представляют собой одно и то же»<sup>54</sup>. В холлистском идеале («Власть принадлежит целому. Отдельное лицо ему служит») Шпенглер видел существующий с XVIII века прусский «авторитарный социализм, по своему существу чуждый либерализму и антидемократичный, поскольку речь идет об английском либерализме и французской демократии... Приспособление этого организма, проникнутого духом XVIII века, к духу XX-го составляло задание организаторов»<sup>55</sup>.

Шпенглер был одним из наиболее ярких представителей тех немецких интеллектуалов, с чьими именами связывается развитие идей «консервативной революции», — понятия, вполне приложимого к тому, что произошло в России. Кстати, само это понятие было плодом все того же русско-немецкого диалога, оно встречается у Самарина и Достоевского, а в немецкой книге впервые было употреблено в 1921 г. в статье Томаса Манна «Русская антология»<sup>56</sup>. Совокупность идей, объединяемых понятием «консерва-

<sup>53</sup> Рормозер Г. К вопросу о будущем России. Россия и Германия. Опыт философского диалога. М., 1993, с. 26.

<sup>54</sup> Шпенглер О. Прусская идея и социализм. Берлин, б.д., с. 9.

<sup>55</sup> Там же, с. 27.

<sup>56</sup> См.: Mohler A. La révolution conservatrice en Allemagne (1918–1932). Puisseaux, 1993, p. 32, 236.

тивная революция», к началу 30-х годов сложилась в политическую концепцию, ставшую одним из главных идейных источников немецкого национал-социализма. По мнению французского историка Л. Дюпе, в 20-е годы именно «консервативные революционеры», а не нацисты «формировали доминирующую контридеологию эпохи»<sup>57</sup>. Но еще в начале 20-х годов при личной встрече с А. Меллером ван ден Бруком — одной из центральных фигур течения — Гитлер сказал ему: «Вы возводите духовный каркас, который сделает возможным возрождение Германии». В дневнике Геббельса есть запись о том, что Меллер выражал «с ясностью» то, что «наша чувствительность и наш инстинкт давно подсказали нам, молодым парням»<sup>58</sup>. Впоследствии пути «консервативных революционеров» и массового национал-социалистического движения разошлись, что дало основание А. Молеру назвать их «троцкистами национал-социализма»<sup>59</sup>.

В концепции «консервативной революции» отразилось немецкое прочтение германских и европейских реальностей, сложившихся после Первой мировой войны, которые воспринимались как свидетельство полного краха унаследованной от Французской революции идеи социального прогресса и доказательство того, что надежной опорой обществу могут служить только «вечные», не знающие никакого прогресса начала. Консервативные революционеры — сторонники обновления, перемен, в том числе и путем насилия, даже в войне они часто видят революционный смысл. Но «вечное» должно оставаться в неприкосновенности, революция «может иметь своим следствием только реорганизацию того, что уже существует»<sup>60</sup>.

При переходе к практике эта философия означала реабилитацию средневековых холистских институтов и всего духа средневековья, против которых вел борьбу Век Прогресса, придание этим институтам и этому духу статуса «вечных» и игру на понижение индивидуалистических, гуманистических ценностей, возвышавшихся европейским XIX веком. Речь, однако, шла не о полном возврате к XVIII веку, а лишь, согласно формуле Шпенглера, о приспособлении социального организма, проникнутого духом XVIII века, к духу XX. Консервативные революционеры «не скупилась на то, что можно назвать поклонами в сторону прежнего доиндустриального общества, аристократии... особенно же крестьянства, неизменно представляемого — и, конечно, с искренним убеждением — как источник силы»<sup>61</sup>. Но «в XX веке истинная основа мощи — это промышленность. „Сталь“ берет верх над „кровью“. Наиболее пронципальные „консервативные революционеры“ хорошо это знали и не стеснялись об этом говорить»<sup>62</sup>. В этом смысле они и были «революционерами», сторонниками модернизации, но она воспринималась ими лишь как «функциональный эквивалент» модернизации западного типа и приобретала чисто инструментальный характер<sup>63</sup>.

<sup>57</sup> *Dupeux L.* Histoire culturelle de l'Allemagne 1919–1960 (RFA). Paris, 1989, p. 45.

<sup>58</sup> *Reichel P.* La fascination du nazisme. Paris, 1993, p. 64.

<sup>59</sup> *Mohler A.* Op. cit., p. 26.

<sup>60</sup> *Ibid.*, p. 152.

<sup>61</sup> *Dupeux L.* «Révolution conservatrice» et modernité. // La révolution conservatrice Allemande sous la République de Weimar. Paris, 1992, p. 25.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Goedel D.* Moeller van den Bruck: une stratégie de modernisation du conservatisme ou la modernité à droite. // La révolution conservatrice Allemande sous la République de Weimar, p. 58–59.

Хотя в мировоззрении «консервативных революционеров» многое определялось естественной ностальгией по прошлому, интерес, проявленный к нему политиками, говорит о том, что дело было не только в ностальгии, а стратегия инструментальной модернизации не была лишена прагматического смысла. Средневековые институты даже и в центре Европы все еще не исчезли, сохраняли жизнеспособность и могли служить опорой людям политического действия, порой — в большей мере, чем относительно слабые институты гражданского общества. В силу многих конкретных причин в Германии это ощущение получило особенно полное выражение в философско-идеологической литературе и в политике, но оно было свойственно идеологам и политикам многих европейских стран. Выход из европейского кризиса виделся им в возвращении отбившегося от стада индивидуального человека к его прежнему холистскому бытию и наступлению «нового средневековья».

Если ставка на сохранение и даже возрождение средневековых институтов имела определенные основания в Европе, то тем более они были в России, где многие элементы средневековья сохранялись в почти нетронутом виде. Послереволюционная Россия вызвала симпатии многих европейских, особенно же немецких интеллектуалов и политиков, в том числе и весьма далеких от марксизма, видевших в большевизме в первую очередь проявления «органичности» русской народной жизни. Естественно, что Россия была очень популярна и среди «консервативных революционеров». В свою очередь, идеи «консервативной революции» и близкие к ним встречали большой интерес в русской эмигрантской интеллектуальной среде, где шла напряженная работа по осмыслению феномена Русской революции. Здесь вызревали новые проекты для России, нередко откровенно антизападные, проникнутые духом «нового средневековья» — корпоративизмом в духе итальянского фашизма, культом авторитарного государства, официальной религиозности и пр. Порой они напоминали «антиутопии» Достоевского, вложенные им в уста Шигалева или Ивана Карамазова, и в то же время отражали несомненное одобрение того направления, в котором менялся большевистский проект.

С наибольшей последовательностью русский «неосредневековый» проект, который можно назвать «православно-большевистским», разработали «евразийцы». Он обладал всеми чертами набравшего в 20-е годы силу небольшевистского проекта (государственная экономика, тоталитарная идеология, однопартийная политическая система, антизападничество и пр.) и, подобно ему, был подсказан истинным ходом событий в СССР. В целом евразийцы одобряли этот ход событий, подчеркивая, что объясняют его действием «народной стихии, а не коммунистов, которые были лишь удобными орудиями и, в общем, послушными исполнителями»<sup>64</sup>.

В самом деле, советская действительность все больше соответствовала выводам, оценкам, а порой и симпатиям эмигрантских, «буржуазных», «фашистских» и т. п. авторов. И дело было, конечно, не в их «подсказке». Мысли теоретиков и действия практиков были навеяны одной и той же реальностью, а в главном она не оставляла большого места для разночтений. Модернизация в России могла опираться только на те социаль-

<sup>64</sup> Евразийство. Опыт систематического изложения. // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992, с. 399.

ные силы, которые были в то время в наличии, — силы, все еще очень архаичные, «средневековые». Поэтому такая модернизация могла быть только «консервативной», основанной на организационных формах, соответствовавших внутреннему состоянию раннего советского общества.

Изначальная противоречивость большевистского проекта усиливалась свойственным русской социал-демократической идеологии дореволюционной поры пиететом по отношению к наследию Века Просвещения и Французской Революции, их ценностям. Это придавало большевизму «прогрессистский», «западнический» характер и, вообще говоря, требовало не только «инструментальной» модернизации, но и обновления всей системы общественных отношений, принятия принципов индивидуализма, экономического и политического либерализма и пр. Подобные принципы не слишком вязались с навеянными средневековыми фантазиями образами фаланстеров будущего, в той или иной мере маячившими перед мысленным взором большевиков, но пока шла теоретическая игра, на это можно было закрывать глаза. Когда же дело дошло до реализации проекта, обнаружилось, что близкие узкому кругу социал-демократической интеллигенции западные политические и экономические понятия были чужды массовому российскому сознанию и мало соответствовали реальностям российской жизни, для которой предназначался проект. Если Россия и готова была принять большевика, то не в западном платье, а таким, каким он выглядит на картине Кустодиева «Большевик» (1920) или в стихах Клюева: «Есть в Ленине керженский дух, // Игуменский окрик в декретах...» (1918).

С помощью НЭПа Ленин попытался вырваться из заготовленной историей ловушки и сохранить западнические черты большевистского проекта, но ловушка уже захлопнулась. От Ленина ждали игуменского окрика, а не «невидимой руки» рынка. В России, комментировал ситуацию начала 20-х годов Шпенглер, «покоятся друг на друге два хозяйственных мира, верхний, чужой, результат цивилизации, проникшей с Запада и ферментом которому служит вполне западноевропейский большевизм первых его лет, и внегородской, живущий только в низах... Подобно тому, как ныне города царские разрушены, и человек живет в них снова, как в деревне, под покровом по-городскому мыслящего большевизма, так этот человек освободился и от западноевропейского хозяйства... Русское простонародье примирится с хозяйственными приемами Запада... но внутренне не примет в нем участия»<sup>65</sup>.

Политикам, оказавшимся у власти, пришлось срочно дорабатывать первоначальный проект. У России, а значит, и у любой российской власти не было иного пути, как продолжать линию модернизации и догоняющего развития, которая определилась еще в петровские времена. Революция могла лишь подхлестнуть это развитие. Но модернизация — и не только в России — всегда борьба: между двумя эпохами, двумя способами существования, двумя типами общества. Деятельность Петра I вполне может быть описана словами Ленина: «упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, против сил и традиций старого общества»<sup>66</sup>. В этих словах, сказанных о диктатуре пролетариата (но пролетариат в них даже не упоминается), Ленин раскрывается как пророк модернизации, по-

<sup>65</sup> Шпенглер О. Деньги и машина. М., 1922, с. 59.

<sup>66</sup> Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. // Полн. собр. сочинений, т. 41, с. 27.

нимаемой именно как борьба. И в них же звучит: «силы и традиции старого общества» еще очень могущественны.

Усиленный революцией порыв российского общества к обновлению был мощным, но до либерального, западнического варианта модернизации «снизу» оно еще не дозрело. Оставался один путь — все тот же петровский путь модернизации с опорой на допотопные механизмы управления «сверху». Он и вышел на первый план в новом большевистском проекте. «Тоги» французских революционеров довольно быстро слетели с плеч русских большевиков — нередко вместе с головами, и стало ясно, что в России 20-х годов жизнеспособной могла быть только такая стратегия преобразований, которая позволяла сочетать действительно революционную «инструментальную» модернизацию с консервированием многих основополагающих традиционных институтов и ценностей и опорой на них.

Согласно Троцкому, разработка такого проекта была выполнена левой оппозицией в партии, Сталин же, разгромив левую оппозицию, присвоил и осуществил этот проект<sup>67</sup>. Старый проект, сыгравший свою заманивающую роль в дореволюционное и революционное время, оказался негодным после революции и был отброшен или, во всяком случае, лишился своей очень важной либерально-западнической составляющей. Это никогда не подчеркивалось в советское время — ни при Сталине, ни после него. Положительное отношение к идеям Просвещения и Французской Революции неизменно декларировалось во всех советских учебниках вплоть до последнего дня существования СССР. Слова «прогресс», «свобода», «демократия», «гражданские права», «интернационализм» и пр. никогда не исчезали с советских знамен. Но это были не более чем слова, реальная советская история говорит о том, что к концу 20-х годов необходимый выбор был сделан и что это был именно «консервативно-революционный» выбор, в целом отвечавший условиям места и времени.

<sup>67</sup> Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991. Левая оппозиция, писал Троцкий, боролась против политики Сталина, направленной на поддержку кулака и денационализацию земли. «Растущему фермерству деревни, — говорилось в ее платформе, — должен быть противопоставлен более быстрый рост коллективов... Задачей перевода мелкого производства в крупное, коллективистическое, должна быть проникнута вся работа кооперации». «Но широкая программа коллективизации упорно считалась для ближайших лет утопией. Во время подготовки XV съезда партии... Молотов... повторял: „Скатываться (!) к бедняцким иллюзиям о коллективизации широких крестьянских масс уже в настоящих условиях нельзя“. По календарю значился конец 1927 г. Так далека была в то время правящая фракция от своей собственной завтрашней политики в деревне!» (с. 27). «Те же годы (1923–28) прошли в борьбе правящей коалиции... против сторонников „сверхиндустриализации“ и планового руководства... Еще в апреле 1927 года Сталин утверждал на пленуме Центрального Комитета, что приступать к строительству Днепровской гидроэлектростанции было бы для нас то же, что для мужика покупать граммофон вместо коровы» (с. 27–28). «Сталин громил „фантастические планы“ оппозиции: индустрия не должна „забегать вперед, отрываясь от сельского хозяйства и отвлекаясь от темпа накопления в нашей стране“. Решения партии продолжали повторять те же прописи пассивного приспособления к фермерским верхам крестьянства» (с. 29).